

НИККОЛО  
МАКИАВЕЛЛИ

# О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ



  
КоЛибри  
Москва

ПРЕДИСЛОВИЕ НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ,  
ФЛОРЕНТИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА И СЕКРЕТАРЯ,  
К КНИГЕ О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ,  
К ЛОРЕНЦО, СЫНУ ФИЛИППО СТРОЦЦИ,  
ФЛОРЕНТИЙСКОМУ ПАТРИЦИЮ

Многие, Лоренцо, держались и держатся мнения, что нет в мире двух вещей, друг с другом менее сообразующихся и столь друг на друга непохожих, чем жизнь гражданская и жизнь военная. Отчего мы часто видим, что, когда человек задумает наняться на службу в войске, он тут же меняет не только одеяние, но меняется во всем поведении, привычках, голосе, отбрасывая всякий гражданский обычай. Ибо не считает возможным носить гражданскую одежду тот, кто хочет быть легким и готовым на любое насилие, и не годятся гражданские нравы и обычаи для того, кто считает эти нравы женственно расслабленными, а эти обычаи — не подходящими для своих действий; и не кажутся уместными обыкновенный облик и речь тому, кто желает своей бородой и скверной бранью пугать других людей. Все подобное в наши времена делает вышеуказанное мнение совершенно верным.

Однако если рассмотреть установления древних, то не найдется вещей более единых, более сообразных друг другу, которые, в силу самой необходимости, если можно так выразиться, более любили бы друг друга, чем жизнь гражданская и воинская. Ибо все ремесла, учрежденные в гражданском обществе ради общего блага людей, и все установления, созданные в нем, чтобы жить, чтя законы божеские и человеческие, оказались бы тщетны, если бы не находились в готовности средства их защиты, которые, когда они хо-

рошо устроены, поддерживают гражданские учреждения, даже если те устроены дурно. И наоборот, учреждения хорошие, но лишённые военной поддержки, приходят в расстройство совершенно так же, как покои роскошного царского дворца, пусть даже украшенные драгоценными камнями и золотом, когда, будучи лишены кровли, они потеряют защиту от дождя. И если во всех других учреждениях древних республик и монархий прилагалось всякое усердие в том, чтобы поддерживать в людях верность, миролюбие и страх Божий, то в войске эти усилия удваивались. Ибо от кого нуждается отечество в большей верности, чем от того, кто клянётся за него умереть? В ком должно быть больше любви к миру, как не в том, кому нанести раны способна только война? В ком должен быть жив страх Божий, как не в том, кто, ежедневно подвергая себя бесчисленным опасностям, более всех нуждается в Его помощи? И ясное понимание этой необходимости и законодателями царств, и наставниками воинства содействовало тому, что жизнь воинов прославлялась всеми остальными людьми, которые ей усердно следовали и подражали. Но поскольку военные установления оказались всецело извращены и очень давно оторвались от древних обычаев, возникли зловредные мнения, побуждающие ненавидеть военное дело и избегать близкого общения с теми, кто им занимается. И я, на основании виденного и прочитанного мною, рассудив, что не столь уж безнадежна задача вернуть военное дело к его древним обычаям и дать некое начертание его былой доблести, и не желая проводить время досуга в праздности, решил записать для любителей деяний предков свои мысли о военном искусстве, как я его понимаю. И хотя дерзновенное дело — рассуждать о том, чем не занимался сам, все же не считаю ошибочным занять на словах то место, которое многие с большей самона-

## Предисловие Никколо Макиавелли

деянностью занимали на деле. Ибо ошибки, которые сделал я при написании этой книги, могут быть исправлены без ущерба для кого-либо, тогда как их ошибки, совершенные на деле, открываются только в крушении держав. Так что вам, Лоренцо, остается оценить эти мои труды и воздать им, по вашему суду, или порицание, или похвалу, которой они, как вы полагаете, заслуживают. Посылаю их вам как с целью поблагодарить (пусть моих возможностей и недостаточно для этого) за милость, мне вами оказанную, так и потому, что принято подобными творениями чтить людей, блистающих знатностью, богатством, умом и щедростью, — а я знаю, что по богатству и знатности с вами могут сравниться немногие, по уму — редкие, а по щедрости — никто.



## КНИГА ПЕРВАЯ

Я полагаю, что никакого человека не предосудительно хвалить после его смерти, ибо в этом случае нет причин ни для обвинения в лести, ни даже для подозрения в ней; и я без колебания воздам хвалу нашему Козимо Ручеллаи, имя которого не могу вспоминать без слез, ибо знал за ним все достоинства, какие друзья могут желать от друга, а отечество — от гражданина.

Ибо я не знаю, что он считал настолько своим (не исключая самой души), чем бы не пожертвовал охотно ради своих друзей; не знаю, на какой подвиг он устранился бы пойти, если бы видел в нем благо для отечества. И чистосердечно свидетельствую: среди всех людей, с которыми я был знаком и общался по делам, я не встречал такого, чей дух больше пылал бы любовью к делам великим и славным. И, находясь при смерти, он скорбел с друзьями лишь о том, что ему суждено умереть молодым, в своей постели, не совершив ничего досточестного, и что не смог он, как желала того его душа, принести кому-либо пользу; ибо знал он, что о нем можно будет сказать лишь одно: умер верный друг. Впрочем, это не причина, чтобы мы и другие, знавшие его так же хорошо, не могли верить в его похвальные качества, пусть они и не проявились в славных деяниях.

Судьба, однако, не была к нему настолько враждебна, чтобы не оставить некой мимолетной памяти

о живости его ума, которую выказывают некоторые его сочинения и опыты любовных стихов. В таких стихах он, даже не будучи влюблен, упражнялся в юные годы, чтобы не тратить времени понапрасну, пока фортуна еще не направила его к мыслям более высоким; по ним можно ясно представить, как удачно описывал он свои чувства и какие похвалы заслужил бы в поэзии, посвяти он себя ей как главной цели.

Итак, если уж судьба лишила нас общения с таким другом, думается, невозможно нам искать большего утешения, чем наслаждаться воспоминаниями о нем, повторяя или его меткие слова, или глубокие рассуждения. И поскольку свежее всего для нас — недавняя беседа его у себя в саду с синьором Фабрицио Колонной (когда этот синьор пространно рассуждал о войне, большей частью отвечая на острые и разумные вопросы Козимо), мне, бывшему там вместе с несколькими нашими общими друзьями, захотелось восстановить эту беседу в памяти, чтобы, читая о ней, друзья Козимо, ее участники, освежили в своих душах память о его дарованиях, а прочие — и пожалели, что не присутствовали там, а вместе с тем постигли многие вещи, полезные не только для военной, но и для гражданской жизни, из глубоких рассуждений одного из умнейших людей.

Итак, Фабрицио Колонна, возвращаясь из Ломбардии, где долго и с большой для себя славой сражался за короля [Фердинанда] Католика, и проезжая через Флоренцию, решил ради отдыха остановиться в этом городе на несколько дней, чтобы посетить его светлость герцога и вновь повидать некоторых благородных людей, с которыми прежде водил приятельство. И Козимо пожелал пригласить его к себе в сады, не столько чтобы проявить перед ним свою щедрость, сколько ради повода для неспешной беседы с ним, чтобы услышать и познать различные вещи, насколь-

ко можно надеяться от такого человека, ибо это показалось ему подходящим случаем провести день в разговоре о предметах, занимательных для его души.

Итак, Фабрицио явился на его приглашение и был принят Козимо и его близкими друзьями, среди которых были Дзаноби Буондельмонти, Баттиста делла Палла и Луиджи Аламанни — все молодые люди, ему дорогие и увлеченные теми же занятиями, что и он сам; описание же их добрых качеств, которые каждый день и час говорят за себя сами, я опускаю.

Сообразно времени и месту Фабрицио были оказаны самые большие почести, какие только было возможно оказать. Когда же миновали удовольствия пира, были унесены столы и завершились те праздничные развлечения, которые у больших людей, с их умом, постоянно обращенным к предметам досточестным, завершаются быстро, — а день был длинный и очень жаркий, — Козимо, чтобы лучше удовлетворить своему желанию, рассудил, ради спасения от духоты, увести гостей в самую отдаленную и тенистую часть сада. Когда все перешли туда и уселись — кто на траве, которая особенно свежа в этом месте, кто на скамьях, нарочно расставленных под сенью самых высоких деревьев, — Фабрицио похвалил приятность места и, с особенным вниманием разглядывая деревья, какие-то породы не мог распознать — и озадачился. Видя это, Козимо сказал: «Не удивляйтесь, если вам какие-то из этих деревьев, может быть, незнакомы. Здесь есть такие, что были известнее древним, чем большинству нынешних людей». Он назвал породы деревьев и рассказал, как трудился над разведением этих пород Бернардо, его дед; на что Фабрицио отвечал: «О них я и подумал. И это место, и это увлечение привели мне на память некоторых князей нашего королевства, которые наслаждаются разведением этих древних пород и прохладой от них». Сказав это,



он умолк и некоторое время сидел словно задумавшись. И затем продолжил: «Если бы я знал, что никого не обижу, я бы поделился своим мнением. Но не думаю, что могу обидеть, ибо говорю в кругу друзей, и лишь в рассуждение, а не в осуждение. Насколько лучше было бы этим князьям, не в укор им будь сказано, стремиться к уподоблению древним в делах мощных и суровых, а не в изящных и изнеженных, в том, что древние делали под палящим солнцем, а не в тени, и перенимать нравы древности подлинной и совершенной, а не ложной и испорченной; ибо когда мои римляне увлеклись подобными делами, отечество мое погибло».

Козимо ответил... Но чтобы не утомить читателя, повторяя то и дело: «этот сказал» и «а тот ответил», я буду просто указывать имена говорящих.

Итак, вот что ответил КОЗИМО: Вы нашли подход к беседе, которой я давно желал, и прошу вас говорить без обиняков, как и я без обиняков буду вас спрашивать. Если я, спрашивая или отвечая, стану кого-либо оправдывать или осуждать, это будет не ради оправдания или обвинения, а лишь для того, чтобы услышать от вас правду.

ФАБРИЦИО: Я же, в ответ на ваши вопросы, буду рад сказать вам все, что знаю, а верно оно или нет, оставляю на ваш суд. Вопросы ваши будут мне только приятны, ибо я надеюсь столько же почерпнуть из них, сколько вы из моих ответов. Часто умелый вопрошатель заставляет собеседника о многом поразмыслить, а также узнать многое другое, о чем он, если бы его не спрашивали, никогда бы не узнал.

КОЗИМО: Хочу вернуться к тому, о чем вы говорили ранее, — а именно: что мой дед и те ваши князья поступали бы более мудро, уподобляясь древним в делах суровых, а не в изящных, — и сказать нечто в оправдание моего предка, предоставив вам защи-



тить ваших. Не думаю, чтобы в его времена был другой человек, который бы так, как он, ненавидел изнеженность и так любил суровую жизнь, которую вы хвалите; тем не менее он сознавал, что ни сам он, ни дети его этой жизнью жить не могут, будучи рожден в столь развращенном веке, когда любой, кто захотел бы отклониться от общего обычая, стал бы отвратительным и презренным для всех.

Ведь если бы кто-то летом под палящим солнцем крутился нагим на горячем песке, а зимой, в самую стужу, на снегу, подобно Диогену, его бы сочли у нас за сумасшедшего. Если бы кто, подобно спартанцам, заставлял своих детей питаться с поля и спать под открытым небом, ходить без шапки и босиком, купаться в ледяной воде, чтобы они были выносливее в трудностях, меньше любили жизнь и меньше страшились смерти, — он сделался бы посмешищем и прослыл бы скорее за зверя, чем за человека. Если среди нас увидят такого, кто будет питаться овощами и презирать золото, подобно Фабрицию, — мало найдется тех, кто его похвалит, и уж точно ни один за ним не последует.

Так и дед мой, убоившись обычаев нынешней жизни, оставил древние; но где он мог подражать древности, привлекая к себе меньше внимания, там делал это.

**ФАБРИЦИО:** В этой части вы оправдали его превосходно, и, конечно, все, что вы говорите, верно; но я имел в виду не столько упомянутые вами суровые правила жизни, сколько другие, более мягкие и подходящие к нынешней жизни; и, думаю, нашелся бы в каком-то из городов правитель, которому под силу было бы установить их. Как всегда, по любому вопросу я не могу не сослаться на пример моих римлян: рассмотрев их образ жизни и строй этой республики, мы найдем там много такого, что не выглядит невоз-

можным ввести в гражданском обществе, в котором сохранилось еще хоть что-то доброе.

КОЗИМО: Что же подобное древним установлениям хотелось бы вам ввести?

ФАБРИЦИО: Чтить и награждать доблесть, не презирать бедность, уважать порядок и строй военной дисциплины, побуждать граждан любить друг друга, не образовывать партий, меньше дорожить частным, чем общественным, и многое другое, что можно было бы приспособить к нашему времени. Такие обыкновения нетрудно ввести, если только тщательно обдумать и применить верные средства, ибо истинность этого настолько очевидна, что даже самый заурядный ум может ее воспринять. Кто же стремится установить подобные вещи, тот насаждает деревья, под сенью которых можно находиться еще с большим удовольствием и радостью, чем в этом саду.

КОЗИМО: Я ничем не стану возражать против ваших слов и предоставляю высказаться о них тем, кому легче судить о предмете; но обращусь к вам, как к обвинителю тех, кто не подражает древним в их великих делах, полагая, что таким путем мне легче будет подойти к цели нашей беседы. Итак, хотелось бы узнать от вас, почему вы, с одной стороны, укоряете тех, кто не уподобляется своими делами древним, а с другой стороны, не видно, чтобы в вашем собственном деле, военном, в котором вас считают выдающимся, вы вводили какие-либо древние установления или что-то хоть толику на них похожее?

ФАБРИЦИО: Вы сказали то самое, чего я ожидал; ведь моя речь требовала именно этого вопроса, а на другой я и не рассчитывал. Конечно, мне было бы нетрудно оправдаться; но, чтобы доставить большее удовольствие себе и вам, благо погода позволяет, хочу поговорить об этом подробнее.

Те, кто собирается нечто предпринять, сначала должны со всей тщательностью подготовиться, дабы,

когда представится случай, иметь под рукой все средства, достаточные для того дела, которое они задумали. Если приготовления произведены осторожно, они остаются тайной; так что никого нельзя обвинить в небрежении, пока не придет время действовать; а тогда если человек бездействует, значит он или недостаточно подготовился, или вообще ничего не обдумал. Поскольку же мне ни разу не предоставлялась возможность сделать явными мои приготовления к тому, чтобы вернуть воинство к древним устоям, ни вы, ни кто другой не можете мне ставить это в вину. Думаю, что для ответа на ваш упрек этого оправдания достаточно.

КОЗИМО: Достаточно, будь я уверен, что случай вам действительно не представлялся.

ФАБРИЦИО: Понимаю, что вы вправе сомневаться, представлялся мне случай или нет; поэтому, если вам угодно терпеливо меня выслушать, хочу поговорить о том, какие приготовления необходимо предварительно сделать, какого следует ожидать случая, какие препятствия могут лишить наши приготовления силы и уничтожить самую возможность; и, наконец, почему это дело одновременно и весьма трудное и весьма простое, — пусть это и кажется противоречием.

КОЗИМО: Это будет самым большим удовольствием, которое вы можете доставить мне и моим друзьям: мы не устанем вас слушать, пока вы не устанете говорить. Но поскольку речь ваша будет, вероятно, продолжительна, я, с вашего разрешения, обратился бы за помощью к друзьям: все мы просим вашего снисхождения, если вас подчас будут прерывать какими-нибудь докучливыми вопросами.

ФАБРИЦИО: Я буду только рад, если вы, Козимо, и другие молодые люди будете меня спрашивать, так как думаю, что молодость внушит вам и большее расположение к военному делу, и большее доверие



к моим словам. Иные, с седой головой и охладевшей кровью, — или враги войны уже в силу возраста, или неисправимы, как те, кто верит, что это «времена», а не дурные обычаи принуждают людей жить так дурно, как сейчас.

Так что спрашивайте меня свободно и без стеснения. Я сам этого хочу: и потому, что меня это немного развлечет, и потому, что мне будет приятно не оставить в ваших умах никакого двоемыслия. Начну с ваших слов о том, что в военном деле, которое является постоянным моим занятием, я не применял никаких обыкновений древних.

Отвечаю. Поскольку война — дело такого рода, от которого частные люди не могут постоянно жить законным образом, она может быть делом только республики или монархии. Но ни благоустроенная республика, ни благоустроенная монархия никогда не позволяли ни одному своему гражданину или подданному заниматься войной как частным ремеслом, и никогда еще ни один добрый человек частным ремеслом войну не делал. Никогда не сочтут порядочным человека, выбравшего себе занятие, которое, чтобы постоянно получать от него выгоду, требует быть хищником, обманщиком, насильником и иметь в себе многие другие качества, неизбежно делающие его дурным. А люди, занимающиеся войной как ремеслом, хоть великие, хоть малые, не могут быть иными, так как это ремесло во время мира их не кормит; почему они вынуждены или стремиться к тому, чтобы мира не было, или так обогащаться на войне, чтобы им хватало на пропитание и в мирное время. Но ни первая, ни вторая из этих мыслей не вмещается в душе доброго человека; ведь от желания вечно жить войной происходят грабежи, насилия, убийства, совершаемые такими солдатами по отношению не только к врагам, но и к своим. Если не хочешь мира, прибегаешь

к обманам, как обманывают командиры тех, кто их нанял, лишь бы только продлить войну. А когда наконец настает мир, командиры, лишившись жалованья и средств к жизни, зачастую поднимают знамя государыни Удачи и безжалостно грабят какую-нибудь местность.

Разве не помните, что происходило у вас самих, когда после окончания войн многие наемники, оставшиеся в Италии без жалованья, собирались в отряды, так называемые роты, рыскали повсюду, облагая данью города и грабя селения, и на них нельзя было найти никакой управы? Разве не читали вы, как карфагенские наемники по окончании первой войны с римлянами взбунтовались и, выбрав себе в начальники Матоса и Спендия, повели против карфагенян войну еще более опасную, чем только что оконченная? А во времена наших отцов Франческо Сфорца, ради того чтобы иметь возможность жить в роскоши после заключения мира, не только обманул миланцев, у которых служил наемником, но отнял у них свободу и сделался над ними правителем.

Подобны были и все другие итальянские наемники, для которых воинское служение было частным ремеслом. И если через свои злодеяния не все из них сделались герцогами Милана, тем больше они заслуживают порицания, ибо без равного успеха они приняли на себя, если рассмотреть их жизнь, равные грехи. Сфорца, отец Франческо, служивший королеве Джованне, вынудил ее сдаться в руки королю Арагонскому, внезапно покинув ее беззащитной посреди врагов, — либо теща собственное самолюбие, либо вымогая у нее деньги, либо желая отнять у нее престол. Браччо такими же происками стремился овладеть Неаполитанским королевством, и ему бы это удалось, если бы он не был разбит и не погиб под Аквиллой. Подобные безобразия происходили лишь оттого, что бы-

ли люди, имевшие военное дело частным промыслом. Разве нет у вас пословицы, подтверждающей мои слова: «Война творит разбойников, а мир их вешает»? Ведь другого ремесла эти люди не знают, а тех, кто бы их в нем наставил, не имеют; на то, чтобы объединиться и совершить какое-нибудь достойное злодейство, им не хватает духа, так что им по необходимости остается лишь идти на большую дорогу, а правосудию — уничтожать их.

КОЗИМО: То военное служение, которое прежде казалось мне самым превосходным и почетным, вы низвели почти в ничтожество. И я не удовлетворюсь, пока вы не разъясните это лучше, потому что коль скоро все обстоит так, как вы говорите, тогда не знаю, откуда же берется слава Цезаря, Помпея, Сципиона, Марцелла и стольких римских военачальников, которых молва прославляет как богов.

ФАБРИЦИО: Я еще не закончил рассуждение обо всем, о чем предполагал, — то есть о двух вещах: во-первых, что добрый человек не может иметь военное дело ремеслом; во-вторых, что ни одно благоустроенное государство, будь то республика или монархия, никогда не позволит своим подданным или гражданам иметь ремеслом войну.

Касательно первого я сказал все, что мог; теперь остается сказать о втором, и здесь я отвечу на ваш последний вопрос. Я считаю, что Помпей, Цезарь и почти все римские полководцы после Третьей Пунической войны стяжали известность как люди отважные, а не как добрые; те же, что были до них, прославились и как отважные, и как добрые люди. Причина в том, что прежние не делали себе из войны ремесла, тогда как для более поздних война была именно ремеслом.

Покуда республиканский строй оставался незапятнанным, как ни один из видных граждан не замышлял, пользуясь военной силой, в мирное время обога-



щаться, попирать законы, грабить провинции, захватывать власть и устанавливая в отечестве тиранию, так и последнему бедняку не приходило в голову нарушать воинскую присягу, примыкать к частным людям, презирать сенат или содействовать тираническим поползновениям, чтобы в любое время кормиться военным ремеслом. Те, которые были на войне полководцами, довольствуясь триумфом, с радостью возвращались к частной жизни, а те, кто был простым воином, охотнее слагали оружие, чем брались за него; каждый возвращался к тому делу, которым обеспечивал свою жизнь; и не было никого, кто рассчитывал бы жить добычей и военным ремеслом.

Из видных граждан яркий пример в этом смысле явил Атилий Регул. Будучи начальником римских войск в Африке и уже почти победив карфагенян, он попросил у сената разрешения вернуться домой, чтобы позаботиться о своих землях, заброшенных его работниками. Ведь яснее солнца, что если бы он имел ремеслом войну и рассчитывал нажиться этим путем, то, завоевав столько провинций, не просил бы разрешения вернуться и присматривать за своими полями: он за один день приобретал бы больше, чем все эти поля стоили. Но поскольку подобные добрые люди, не делая из войны ремесла, не ищут для себя от нее ничего, кроме трудов, опасности и славы, они, когда достаточно прославятся подвигами, желают лишь вернуться домой и жить от своего обычного дела.

Что же до простых людей и рядовых воинов, и они придерживались того же нрава, ибо каждый из них охотно расставался с военной службой. Когда он не воевал, то всегда готов был вернуться в строй, а когда воевал, мечтал о мирной жизни. Это подтверждается многообразно, а особенно из того, что среди главных привилегий, какие римский народ давал своему гражданину, была вот такая: его нельзя было послать на